

Л.А. Озеров

В начале было «Слово» (Николай Заболоцкий)

Род Заболоцких (сперва Заболотских) — крестьянский, уржумский, вятский: Яков — Агафон — Алексей — Николай.

Здесь пойдет речь о Николае Алексеевиче Заболоцком (1903–1958).

О нем говорят: поэт мысли. Верно. Но он и живописец словом. Не только. Ему свойственно мелодическое восприятие мира. По прочтении стихов, поэм, переложений Николая Заболоцкого у меня возникает чувство, что вы узнали его, постигли. Но проходит время, и это чувство представляется иллюзорным, и читатель видит, что в сочинениях поэта есть прочные запасы непостигнутого и даже непостижимого. Его наследие не осталось с ним на скорбной черте 1958 года, а передано нам, движется с нами и деятельно участвует в нашей жизни, исполненной напряженного драматизма.

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!

Это — начальные строки стихотворения «Метаморфозы» (1937). И далее:

А я все жив! Все чище и полней
Объемлет дух скопление чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И знак живой и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Отец Николая Алексеевича Заболоцкого был земским агрономом. Алексей Агафонович служил близ Казани на сельскохозяйственных фермах, затем в селе Серпур (ныне это территория Марийской АССР, районный центр). После революции отец будущего поэта заведовал фермой-совхозом в уездном городе Уржуме, где Николай Заболоцкий получил среднее образование. Детство его прошло на земле. Красоты вятской природы запечатлелись в нем на всю жизнь и многое в ней предопределили. В «Ранних годах» Заболоцкий пишет:

«Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслаждался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Серпура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях».

Семнадцати лет от роду, в 1920 году, Николай Заболоцкий переехал из Уржума в Москву, а затем в 1921 году — в Петроград. Он учился в педагогическом институте им. А.И. Герцена на отделении языка и литературы, после окончания которого служил в армии.

Крестьянская, студенческая, армейская жизнь приучила Николая Заболоцкого к серьезному планомерному труду, к самоограничению, которые вместе с дерзкими за-

мыслами художника создали его характер. Этот человек смело задумывал жизнь. Казалось, что он — физически и духовно — надолго, на сто лет.

Николай Заболоцкий не искал признания, прежде всего искал себя. Испытал на себе разные влияния: от Блока до Есенина, от Маяковского до Ахматовой. Долго накапливал стихи для первой книги, и когда она, вобрав в себя двадцать два стихотворения («Столбцы», 1929) вышла, ее ждал шумный успех. Читатели «Столбцов» резко разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от книги, открывшей нового поэта, другие возмущались, потешались над ним, ругали последними словами. Если собрать эту критическую брань, то получился бы немалый том, являющий миру близорукость и недомыслие, тупость и ханжество. Но Николай Заболоцкий стремительно рос («Как мир меняется! И как я сам меняюсь!») и продолжал удивлять как своих поклонников, так и хулителей.

В 1928 году Николай Заболоцкий писал своей будущей жене Екатерине Васильевне:

«Вера и упорство, труд и честность... Я отрекся от житейского благополучия, от “общественного положения”, оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я ничто...»

Поэт остался верен этим принципам в жизни и в творчестве.

Как и другим русским поэтам, выросшим на земле, город казался спрутом, чудовищем, каменной громадой, воплощением зла. С гордостью говорил поэт: «Я воспитан природой суровой». По контрасту Николай Заболоцкий брался за городские темы. Особенно в тех случаях, когда решались они отстраненно, иронически, гротескно.

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

(«В жилищах наших...», 1925)

Этой же теме посвящены стихотворения «Новый быт», «Ивановы», «Вечерний бар» и другие. Свежее, подчас инфантильное, сатирическое изображение городских контрастов, уродств обывательской жизни характерно для первой книги Николая Заболоцкого. Поэт ко времени выхода книги участвовал в литературном содружестве ОБЕРИУ — «Объединение реального искусства». Участников содружества именовали «обериутами».

В декларации обериутов (первую часть ее предположительно писал Николай Заболоцкий) сказано, что они объявляют себя «новым отрядом революционного искусства». Себя же самого Заболоцкий определил, как художника «голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя». Эта задача, которую ставил перед собой художник, не была надуманной и отвлеченной. Она касалась реальности его творчества, его сочинений, их изобразительных средств. Поэт старался для себя и для читателей сформулировать принципы своей поэтики.

В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок, —

так начинается стихотворение «На рынке» (1927).

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.

Натура придвинута «вплотную к глазам зрителя». Все выглядит натурально, намеренно натуралистически. Пушкин это называл «фламандской школы пестрый сор».

Об одном важном пункте своей поэтики Заболоцкий умолчал. Это — динамика. Желание передать мир в движении.

Одно из стихотворений «Столбцов» так и называется — «Движение»:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Руки коня (в другом стихотворении — «лицо коня», лицо, а не морда) и восемь ног вместо четырех. Четыре движутся и кажутся восьмью.

«Столбцы» утверждали резко определенную манеру поэта. Николай Заболоцкий был отличим без подписи. Его охотней сравнивали с живописцами (Брейгель-Старший, Анри Руссо, Филонов, Шагал, Татлин), чем с поэтами-современниками. Хулители поэта (а их было предостаточно) обвиняли его в ерничестве, шутовстве, зауми, абракадабре, бессмыслице — во всех смертных грехах. Доброжелатели поэта, как бы желая ему помочь, выдумали определенную систему защиты: Заболоцкий, мол, высмеивал гримасы нэпа, отсюда все его качества, как художника. Сейчас, по прошествии большого времени, можно предать забвению эту «систему защиты». Свежий, яркий, молодой живописец словом Николай Заболоцкий интересен не как критик нэпа, а как поэт, умеющий прикасаться к нерву времени, стремящийся выразить время и себя в причудливых линиях и красках своей фантазии:

Ликует форвард на бегу,
Теперь ему какое дело? —
Как будто кости берегут
Его распахнутое тело.
Как плащ летит его душа,
Ключица стучается звонко
О перехват его плаща,
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравой поят,
Но каблуков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Классический четырехстопный ямб в руках Заболоцкого обрел не только новое звучание, но и новое значение. Он преобразился. Пахнуло такой новизной, что непривычные к ней люди захихикали, заулюлюкали, стали возмущаться и свое возмущение выражать в газетных и журнальных статьях. Например, критик А. Тарасенков напечатал статью под лукавым названием «Похвала Заболоцкому». Лукавство, скорей напоминающее коварство, состояло в том, что читатель этой статьи хорошо помнил: мудрый Эразм Роттердамский назвал свою книгу «Похвала глупости». Название статьи Тарасенкова имело в виду эту необходимую ему ассоциацию: глупость. Это было одно из словечек, введенных в обиход критикой. Были отзывы и похлеще. Отзывы, по сути своей напоминающие доносы. Поэта травили. В 1933 году после напечатания поэмы Заболоцкого «Торжество земледелия» критика еще более злобствовала. Формалист и чужак — вот, оказывается, кто есть Заболоцкий. Подготовленная поэтом в 1933 году новая книга не смогла выйти в свет. Но отчаиваться — не в природе Заболоцкого. Он продолжал работать. Он был верен своему принципу: вера и упорство, труд и честность. Он сотрудничает

в журналах для детей, обрабатывает для юношества поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (позднее, в 50-х годах Заболоцкий перевел эту поэму полностью), готовит переложение двух знаменитых книг — «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Гиль Уленшпигель» Де Костера.

Помимо стихов и переводов, одновременно и наравне с ними, Заболоцкий был занят естествознанием, натурфилософией. Вернадский и Циолковский привлекали его особенно. В письме к последнему (1932) поэт отмечал:

«Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их».

Это была программа на целую жизнь. Но Николай Заболоцкий не откладывал ее осуществление в долгий ящик.

Доступными ему художественными средствами поэт постигал систему мироздания, миропорядка, объединяющую живые и неживые формы материи. Он утверждал, что сознание присуще всей природе, что оно главенствует над хаосом:

...все существованье, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детищем природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

Это дало право пристальным читателям и чуткой критике причислить Заболоцкого к творцам русской философской лирики, к традиции Пушкина, Баратынского, Тютчева.

В 1937 году вышла в свет «Вторая книга», насчитывающая всего семнадцать стихотворений. Некоторые из них появились в прессе (прежде всего — в «Известиях»). Это: «Север», «Прощание», «Голубиная книга», «Седов», Торийская симфония». На последнем надо остановиться.

Это стихотворение, написанное в 1936 году, посвящено Сталину и месту его рождения городу Гори. Стихотворение выдержано в медлительно-торжественном, местами одических тонах. Пятистопный ямб этих стихов звучит мощно, органно и славит Грузию, ее природу, ее слово. Сталин в начальном варианте возникает безымянно, хотя и достаточно определенно — «вождь народов мира». Ему-то Грузия и адресует задравный гимн «Мравалжамиер».

Символика и мелодика этого стихотворения естественно вписывается в эпоху — середину тридцатых годов, когда имя Сталина произносилось и превозносилось в речах, гимнах, одах, дифирамбах, ораториях. Стихотворение Заболоцкого выделяется своей мощной живописью и музыкой:

Как широка, как сладостна долина,
Течение рек как чисто и легко,
Как цепи гор, сливаясь воедино,
Преображенные, сияют далеко!
Живой язык проснувшейся природы
Здесь учит нас основам языка,
И своды слов стоят, как башен своды,
И мысль течет, как горная река.

Мы, читавшие эти стихи в свои молодые годы, воспринимали их, как песнь во славу Грузии. Но в ту пору говорить о Грузии и не говорить о Сталине было невозможно, как невозможно было не воспевать его, воспевая Россию и Украину, Белоруссию и Таджикистан, все республики, весь земной шар. Это было неременное условие существования общества.

Несомненно, что мы не можем обвинить Заболоцкого в верноподданничестве, в подбострастии, в казенной любви к генсеку. Он верил, как верило подавляющее большинство. Напечатанное в «Известиях» это стихотворение, кстати сказать, никак не помогло

Заболоцкому в ту пору, когда его арестовали и осудили. Жизнь сурово покарала поэта. В дальнейшем он убрал из стихотворения безымянное присутствие в нем Сталина. Оно теперь печатается в новой редакции. Но этого мало.

В позднюю свою пору, в 1957 году, то есть за год до смерти, Заболоцкий пишет стихотворение «Казбек». Оно о Кавказе, оно тоже без имени Сталина:

С хевсурами после работы
 Лежал я и слышал сквозь сон,
 Как кто-то, шальной от дремоты,
 Окно распахнул на балкон.

В окне было видно, как «загорался Казбек», как вдали «курились туманные бездны провалами каменных сот»:

Земля начинала молебен
 Тому, кто блистал и парил.
 Но был он мне чужд и враждебен
 В дыхании этих кадил.

Это не аллегория, не эзопов язык, это пейзаж, сквозь который явственно проступает мысль о владычестве, которое чуждо и враждебно не кому-то, не имярек, а именно «мне»:

У ног ледяного Казбека
 Справляя людские дела,
 Живая душа человека Страдала,
 дышала, жила.

А он в отдаленье от пашен,
 В надмирной своей вышине,
 Был только бессмысленно страшен
 И людям ужасен вдвойне.

И люди, хевсуры, из своего села «мельком смотрели» «на мертвые грани его».

Между «Горийской симфонией» и «Казбеком» пролегло двадцатилетие (1936–1957), исполненное драматизма, многочисленных потерь, лагерей, губительной сталинщины. «Живая душа человека», длительно страдавшая, оцепеневшая, медленно отходила от исторического кошмара, желая вспомнить подлинное лицо жизни.

Но это все еще впереди. А пока, в середине 30-х годов, Заболоцкий подвергается жестоким нападкам. Из сферы литературы они перешли в сферу политики. Поэт не подавал никаких поводов для обвинения его в противостоянии правопорядку.

Но в ту пору и не нужны были реальные причины. Обвинялись ни в чем не повинные люди. И в их числе Николай Алексеевич Заболоцкий.

Далеко не все стороны биографии поэта освещены.

Доселе в нашей литературе период жизни Николая Заболоцкого между 1938 и 1946 годами выглядел как некая таинственная пауза. Где был поэт в эту пору? Об этом не принято было говорить, и в иных писаниях тяжелейший период в жизни человека выглядел как засекреченная творческая командировка или пребывание на курорте.

Вот как все выглядело в действительности.

В марте 1938 года Николая Алексеевича вызвали по срочному делу в Ленинградское отделение Союза писателей. Двое ему неизвестных пожелали с ним поговорить, но только у него на дому.

«В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!»

Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».

Литературовед Ст. Лесневский опубликовал документ, имеющий прямое отношение к нашей теме.

В 1988 году стали известны тексты рецензий Н. Лесючевского на Бориса Корнилова и Николая Заболоцкого. Рецензия на последнего написана 3 июля 1938 года, то есть через три месяца после того, как Заболоцкий был арестован. Рецензия уничижительная, и по мнению исследователя, является доносом. Рецензент получил заказ от Управления КГБ Ленинградской области написать отзыв на стихи, на всю деятельность Заболоцкого.

Рецензент характеризует поэму «Торжество земледелия», как откровенно воинственно-контрреволюционную вещь, как издевку над коллективизацией. Резюме этой рецензии гласит:

«Таким образом, “творчество” Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма».

Рецензент не требовал изоляции Заболоцкого, не хотел, разумеется, пыток и ссылки. Но своими рецензиями он укреплял карателей в их черных делах.

Так поэт был арестован¹.

Вскоре начался допрос, длившийся около четырех суток без перерыва. Николай Заболоцкий отказался признавать за собой какие-либо преступления. Далее допрос велся в кабинете следователя Лупандина и его заместителя Меркурьева.

«Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собой не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? – спрашивал следователь. – Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения, – отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-нибудь посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

— Действие Конституции кончается у нашего порога, – издевательски отвечал следователь».

Следователи старались разложить поэта морально и измотать физически. Не давали пищи. Спать не разрешали. Ноги отекали, — на третьи сутки пришлось разорвать ботинки.

Говорит Николай Алексеевич Заболоцкий:

«По ходу допроса выяснилось, что пытаются сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н.С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Венедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н.М. Олейникове, Т.И. Табидзе, Д.И. Хармсе и А.И. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма “Торжество земледелия”, которая была напечатана Тихоновым в журнале “Звезда” в 1933 году».

¹ В ту пору многие друзья и даже родственники под теми или иными предлогами и без предлогов отходили от семей арестованных и избегали их, как прокаженных. Тем более важно упомянуть те случаи, когда проявлялось человеческое внимание и благородство. Семейю Заболоцких окружили заботой и вниманием Л.Н. Тынянова, В.А. Каверин, Е.Л. Шварц, Н.Л. Степанов с семьями. Это заслуживает нашей признательности и нашего восхищения.

На почве голода и бессонницы мутился рассудок. Появились галлюцинации. Важно было владеть собой, хотя владеть собой было необычайно трудно. Тем более, что побои и издевательства носили систематический характер — от тумачков и зуботычин до струи из пожарного шланга.

Все испытал и перенес этот человек — умница и талантище: больницу для умалишенных — буйное и тихое отделения, тюремную камеру, до отказа набитую арестантами, среди которых были писатели Д. Выгодский и П. Медведев, новую мучительную серию допросов и пыток; зрелище круглосуточных мытарств и унижений многих людей, тюрьму «Кресты», Свердловскую пересыльную тюрьму, этап по Сибирской магистрали, который длился шестьдесят с лишним дней,

«Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день кипяток и обед из жидкой “баланды” и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и это жалкий паек выдавался не регулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключённых. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водой. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая новый 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, выросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни».

Именно в этих условиях, как доказал сын поэта Никита Николаевич Заболоцкий, было написано стихотворение «Лесное озеро». Хочу напомнить читателям это произведение:

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьих сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищная тварями правит природа,
Пробрался к тебе я и замер у входа.
Раздвинув руками сухие кусты,
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичьё,
Но спит, убаюкано сладостным сном?
Один лишь кулик на судьбу негодует
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной.
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, утремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,

Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонялись воды животворной напитокся.

Читателю важно знать, в каких адских условиях подчас создаются стихи, исполненные чистоты и красоты. Душа исстрадавшегося поэта говорила этими стихами: не вовсе загублена, жива, да, жива!

У нас имеется описание места действия.

«Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья. Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...»

Был момент, когда прямая опасность смерти нависла над Заболоцким. Один из соседей по теплушке, уголовник-маньяк, замахнулся на Николая Алексеевича поленом. Товарищи удержали его и так спасли поэта от гибели.

Наконец, заключенные прибыли в Комсомольск-на-Амуре. Начался новый длительный этап лагерной жизни поэта. Он был измучен настолько, что оставил мысль о литературе. Пришел, казалось, конец самым высоким помыслам. Но поэт вспомнил «Слово о полку Игореве» и постепенно вовлекся в перевод. Гениально воспроизведенное в стихии современного стиха, «Слово» явилось мостом между ранним Заболоцким и поздним, между ленинградским периодом его жизни и московским, мостом над бездною ссылки, над бездною, угрожавшей засосать и поглотить поэта.

Конечно, пришлось приложить немало усилий для освобождения Николая Заболоцкого. В этом участвовало немало благожелательных и деятельных людей. Он вернулся в состоянии, которое в лагерях имело название «доходяга». Он был списан как тяжело больной, можно сказать, безнадежный. Если в таком состоянии он за двенадцать лет создал столько прекрасных стихотворений, то легко себе представить, что мог сотворить этот человек в нормальных условиях. В одном из разговоров Николай Алексеевич сказал мне:

— Было время, когда я весь день мог сидеть над строфой. Сейчас не могу. Часа два посижу, а дальше — нет сил.

Первым делом по возвращении из ссылки Заболоцкий завершил работу над переводом «Слова о полку Игореве», начатую еще до войны и продолженную в 1945 году в ссылке в Караганде, где он работал чертежником в строительном управлении. Возобновлена была большая работа над переводами грузинской классической и современной поэзии. Основное же дело — создание свода оригинальных стихотворений, украшающих русскую поэзию второй половины XX века.

Осенью 1958 года, незадолго до смерти, Николай Алексеевич Заболоцкий составил оглавление собрания своих стихотворений и поэм. Это собрание он разделил на две части. Часть первая — «Столбцы и поэмы» (1926–1933) и часть вторая — «Стихотворения» (1932–1958). Полная рукопись собрания объемлет примерно сто семьдесят стихотворений и три поэмы.

В конце рукописи поэт сделал следующее примечание:

«Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мною в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно.

Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменить текстами, приведенными здесь. Н. Заболоцкий. 6 октября 1958 года. Москва».

Теперь, когда мы знаем, что это писалось за восемь дней до смерти поэта, можно только восхищаться его собранностью, взыскательностью, ясностью мысли, чувством глубокой ответственности перед поэзией и читателями — настоящими и будущими.

Нет смысла жаловаться на отсутствие внимания издателей, критики, читателя к творчеству Николая Заболоцкого, особенно после его смерти. Имя поэта теперь упоминается в ряду самых заметных имен русских поэтов советской поры. Его стихотворения прочно вошли в антологии и хрестоматии. Они переводятся на многие языки мира.

Написано поэтом количественно мало, но какой большой материал дает это немногословное творчество, как весома строка поэта, какие несметные мысли и страсти внушает она, толкая на раздумья и споры самого актуального, самого животрепещущего характера!

С годами все более и более мир вещей, переданный в натюрморте, этюде, зарисовке «Столбцов», раздвигался и становился миром природы, миром общества, мирозданием. Этот процесс шел медленно, в противоборстве со страстями, с издержками, подчас мучительно, но неуклонно.

Для Николая Заболоцкого, несмотря на подчас грубые окрики критики, характерен естественный путь развития. Поэт понимал, что голос легко сорвать, что его нужно беречь. И он умно и последовательно занимался постановкой своего голоса. В стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок» (1946) он замечает:

Я и сам бы стараться горазд.
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется».

Николай Заболоцкий не сорвал голоса. Напротив, голос его окреп и звучал сильно и убедительно. Он наверняка звучал бы еще сильнее и убедительней, да вот беда — песня прервалась на высокой, за душу берущей ноте.

Началом моего личного знакомства с поэтом послужило «Слово о полку Игореве».

Дело было в 1946 году, в журнале «Октябрь», где я в ту пору ведал отделом поэзии.

Седой, худощавый, тщательно скрывавший свою болезненность, Василий Павлович Ильенков — член редколлегии журнала, неизменно внимательный и чуткий, — без слов положил однажды на мой стол рукопись, аккуратную и разборчивую. Выделялось название: «Слово о полку Игореве». Это была именно не машинопись, а рукопись. Повеяло какой-то старомодностью. Я перелистал рукопись и посмотрел на последнюю страницу.

— Заболоцкий?! — удивился я.

— Он здесь, живет на моей переделкинской даче, — тихо произнес Ильенков и закашлялся.

Пока хриплый звук его кашля выталкивался из глубин легких, я еще раз успел перелистать рукопись.

— Поглядите внимательно. Я лично читал несколько раз. Поэзия! О ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, — иронично сказал взыскательный Василий Павлович. До этого Заболоцкий и Ильенков в моем сознании не сочетались. Любопытно!

Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе с Заболоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне человеком внятным и ясным в общении, таким же, как и его рукопись. Он положил на стул портфель и протянул руку. Я тут же не выдержал и выпалил:

Есть в Грузии необычайный город.
Там буйволы, засунув шею в ворот,
Стоят, как боги древности седой,
Склонив рога над шумною водой.
Там основанья каменные хижин
Из первобытных сложены булыжин.

Читал я, помнится, чересчур громко. Мне нравились эти стихи с их мощной живописью, одической интонацией и полновесной, точной рифмой: хижин — булыжин.

Мягко очерченный круг головы дважды повторен строгими окружками очков, придававшими Заболоцкому несвойственную ему суровость. Но вот он снял очки, и сразу же на его лице обнаружились незащищенная доброта и даже растерянность. Аккуратно зачесанные светлые волосы сияли, как на голове юноши.

Бледное лицо Заболоцкого осветилось улыбкой, быстро менявшей оттенки: недоумение, понимание, ирония, благодарность.

Мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное, и притом немедленно. Я давно любил его поэзию и знал многие его строки наизусть. В тот день я еще не понимал, не мог понимать, потому что не знал, а только чувствовал, из какой бездны возник Заболоцкий, сколько ему пришлось пережить за 1938–1946 годы. Впрочем, и до, и после них.

Заболоцкий вежливо сидел в ожидании делового разговора. Но я не унимался!

Богиня сыра, молока,
Главой касаясь потолка,
Стыдливо куталась в сорочку
И груди вкладывала в бочку.
И десять струй с тяжелым треском
В холодный падали металл.
И, приготовленный к поездкам,
Бидон, как музыка, играл.

Заболоцкий удивленно смотрел на чудака, который во время исполнения служебных обязанностей кричит на всю комнату и крик свой выражает стихами и подтверждает жестами, которые могли показаться автору чуть ли не угрозой. Я наступал:

В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.

Николай Алексеевич робко отодвинул стул, тронул портфель, загремел замком. Я на миг остановился и образумился.

— «Слово» — прекрасно. Постараюсь убедить начальство, что надо немедля печатать. Вероятно, понадобятся небольшие примечания. Именно небольшие. Мы ведь не академический вестник...

Заболоцкий поблагодарил, затем молча встал и вышел. В тот первый раз Николай Алексеевич показался мне человеком очень молчаливым. Он был скромнен и сдержанно любезен.

Через час после ухода Заболоцкого я повторил свой репертуар в просторном кабинете Ф. Панферова. Присутствовал при этом и его заместитель Г. Санников, следивший не столько за тем, что я читал, сколько за реакцией главного редактора. А реакция главного редактора была самая живая. В который раз я нараспев читал:

Не пора ли нам, братия, начать
О походе Игоревом слово.
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?

А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам —
По былинам времени сего.
Не гоняясь мыслью за Бояном.
Тот Боян, исполнен дивных сил.
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.

Федор Панферов сперва сидел смиренно, потупясь. Потом развалился в кресле. Потом вышел из-за стола и стал ходить в своих больших с белыми отворотами бурках по комнате. Потом потребовал чаю, остановив меня:

— Будете читать все это на редколлегии! «Слово» печатаем... — сказал он, как хозяин, уверенно.

На редколлегии все повторилось сначала. Успех «Слова» был несомненным, голосования не потребовалось. Поэма была напечатана в номере 10–11 «Октября» за 1946 год.

В пору редакционного движения «Слова» к печати Николай Алексеевич несколько раз появлялся в редакции. Несколько раз от его имени передавал поправки Ильенков. Он же повез Николаю Алексеевичу свежую книжку журнала. Мне было досадно, что я не увижу, как Николай Алексеевич примет журнал, какие чувства в нем он вызовет. Передавали мне, что он был очень обрадован появлением своего переложения в журнале.

«Слово» свело и скрепило два периода жизни поэта. Нет двух Заболоцких, есть художник в развитии: от своего «Sturm und Drang» («Буря и натиск») до своей классики. «Слово» — перевод-исследование — помогло поэту после насильственного перерыва, проведенного вдали от дома, вернуться и к оригинальным стихам, и к переводческой работе, расширив их общий плацдарм (стиль, приемы, настрой). «Слово» заменило поэту его собственную исповедь друзьям и читателям и стало прошедшей сквозь толщу веков молитвой русскому мужеству и долготерпению, а заодно и заповедью, оставляемой будущему. Николай Заболоцкий, решивший было, и твердо решивший, не возвращаться к творчеству, наказавший себе выйти из литературы, через широчайшие и мощные в своей многовековой архитектуре ворота «Слова» вошел в нее вновь, теперь уже победоносно и — навсегда.

«Слово», положив начало нашему знакомству, открыло новые возможности общения.

Наши беседы были эпизодичны и кончались пожеланиями: «Надо встретиться, поговорить, как следует... ну, созвонимся». Для меня днем-подарком был день, когда я мог встретить поэта и поговорить с ним. Николай Алексеевич не раз выражал желание послушать мои новые стихи. Если он находил их в печати, всегда говорил кратко и дельно о своем впечатлении. По телефону и при встречах. Мне запомнились его слова о стихотворении «В мастерской скульптора»:

— Верно схватили суть, но рифма чересчур изысканная: лепете — лебеди. Это мне мешает...

Говорил он то о Пушкине, то о Сковороде, то о Хлебникове, то о Державине, то о переводимых им поэтах, чаще всего о Важа Пшавеле, о Леонидзе и Чиковани. Его умение молчать вводило в заблуждение. Это не был молчальник по природе. Он, вероятно, научился молчать. Жизнь обучила его науке безмолвия. Мерцающая на его губах улыбка показывала, что слово на них вспыхивает и, не произнесенное, гаснет...

Возможно, это была опаска сказать лишнее слово, боязнь своей остроты, желание пригасить свою яркость, слиться с окружающими, не выделяться...

За молчанием и кажущейся внешней холодностью угадывались постоянная работа души, упорство и упрямство художника, сказавшего под конец жизни, в 1958 году:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Мне нравилась его неприязнь к какой бы то ни было позе, к каким бы то ни было эффектам, естественность, его внешнее спокойствие, умение слушать других, терпение, которое если и иссякало, то выражалось в ироническом подергивании и опускании краешков губ, — при этом за стеклами очков видны были веки, прикрывающие его уставшие от пристальности глаза. Нечто детское, незащищенное вдруг появлялось в них, но тут же убиралось внутрь существа.

Стихи для печати, для очередных книг он отбирал так скупно, так безощадно, так серьезно и взыскательно...

Глядя на него, слушая его, я хотел постичь тайну мастерства, а вернее — тайну его человеческого обаяния: почти без слов создавать настрой, нежно и уважительно говорить о человеке. При Заболоцком нельзя было ни выругаться, ни сказать о знакомом или незнакомом человеке что-либо уничижительное.

Он был болен, болен очень серьезно. Но его болезнь никогда не шла впереди него. Он неизменно казался подтянутым и сосредоточенным. Не слышал я, чтобы он жаловался. Лишь однажды, встретив его в солнечный день в хорошо отутюженном сером костюме на улице Воровского, я услышал:

— Раньше с утра до вечера мог сидеть над строфой. Сейчас быстро устаю, не могу долго сидеть. — И после паузы: — Ведь я сверхсрочник. Врачи давно меня списали. Жаль, у меня планов много...

Одним из таких планов он поделился со мной:

— Хочу дать свод былин, как некую героическую песнь, слитную и связанную. Я смотрел профессора Водовозова, знаю и другие попытки. У нас нет еще своего большого эпоса, а он был, как и у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других — «Илиада», «Нибелунги», «Калевала». А у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо восстановить весь храм.

В 1955 году, когда организовалось в Литературном институте отделение художественного перевода, я был приглашен в качестве руководителя творческого семинара. Первое, что я сказал: «А Заболоцкий?» Это вызвало ответное: «Ну, конечно, поговорите с ним, а вдруг он согласится вести параллельный семинар вместе с вами?»

Позвонил я Николаю Алексеевичу со счастливой мыслью, что вот наконец буду не столько его коллегой, сколько смогу поучиться у него житейской и поэтической мудрости. Как мне этого хотелось!

— Спасибо. Если позволит здоровье...

Мы ждали. Здоровье не позволило. В одном из своих писем Николай Алексеевич, в марте 1958 года, писал: «...здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера. Два с половиной года назад был инфаркт, теперь мучит грудная жаба. Но я и мое сердце — мы понимаем друг друга».

14 октября 1958 года от второго инфаркта Николай Заболоцкий скончался. Жизнь завершилась.

Какие известные и неизвестные нам замыслы поэта ушли с ним в могилу?

Прошедшие годы (со дня смерти Николая Алексеевича Заболоцкого) показали, сколь велик вклад его в нашу литературу. Собрание сочинений в трех томах издано. Дело не в количестве. Дело в качестве. Весомо, серьезно, прочно.

Есть поэты, которые приходят со временем и с ним же уходят (случается — и раньше того). У некоторых из этих поэтов имеется надежда на пересмотр отношения к ним,

надежда на возвращение в лоно литературы. У некоторых (надо думать — у многих) оснований для такой надежды нет. Они навсегда проваливаются в тартарары.

Интерес к Заболоцкому не пропал. Напротив, с годами он становится все прочней и глубже.

<...>